

Евгений ЕВТУШЕНКО:

Я НЕ ПРЕПОДАЮ СКРОМНОСТЬ, ЭТО НЕ МОЙ ПРЕДМЕТ

Полярность оценок сопутствует поэту многие годы. Но сегодня уже трудно будет кому-либо поспорить с издателями, выпустившими его книгу под рубрикой "Современная русская классика". При всей парадоксальности такого сочетания — ведь обычно говорят "классика и современность", как бы разделяя и даже противопоставляя эти понятия. Но ничего не поделаешь: существует. Можно не любить, не принимать — вольному, как говорится, воля. Но есть объективные вещи — всемирная известность, неотвязные, вошедшие в поговорку строки: "Со мною вот что происходит...", "поэт в России больше, чем поэт". И даже шокировавшее когда-то: "Ты спрашивала шепотом..." И небывалые, фантастические тиражи книг. Вот и нынешняя — пятьдесят тысяч. Это на сегодняшнем-то фоне, когда и полтысячи — поэты за счастье почитают...

— Притом обрати внимание, — говорит мне Евтушенко, — эта книга выпущена в Кургане издательством "Зауралье". Это издательство строит свое процветание на выпуске современной русской литературы, без которой, как выяснилось, люди жить все-таки не могут. А московские и питерские издания на российскую периферию ныне почти не попадают. Вот она, периферия, и "питает" себя сама. Кстати, книга называется "Непроливайка". Ты помнишь, что это такое?

Еще бы мне не помнить! Как раз недавно рассказывал внуку, обладателю многочисленных шариковых и гелевых авторучек, про эту чудо-чернильницу нашего военного детства, которую можно было таскать в школу в тряпичном мешочке, не рискуя запачкать учебники и тетради! Памятьливость на подобные "мелочи быта", изначально составляет существенный компонент обаяния поэзии Евтушенко. Так было всегда, начиная с первых публикаций, с первых книг, с первого широкоформатного, ни в какие полки не вмещающегося сборника "День поэзии", который мы вместе продавали и надписывали читателям в пятьдесят шестом году в книжном магазине на Петроградской стороне в Ленинграде.

— С Питером у меня отношения особые, — продолжает Евтушенко. — Всей моей жизнью связан с Москвой, я люблю повторять про себя строки Георгия Адамовича: "На земле была одна столица, остальные просто города". Это ведь о Петербурге. В русской советской поэзии всегда звучала особая "ленинградская нота".

— Я предпочел бы говорить, по традиции, о "ленинградской школе".

— Школа, нота — разница не принципиальная. Казалось бы, я очень далек и от того, и от другого. Но я люблю "далекое", люблю то, чего не могу или не умею сам. Люблю Пастернака, хотя непосредственных точек соприкосновения с его поэзией у меня почти нет. Так и с "ленинградской нотой". Развивая вроде бы совсем другую

традицию (Маяковского тут вспоминают, я думаю, все-таки не случайно), я всегда был и тайным учеником Пушкина, Блока, Ахматовой... Не случайно, наверное, и многих своих друзей я обрел в этом городе. Здесь познакомился с художником Олегом Целковым, поэтом Евгением Рейном. Да ведь и с тобой — тоже...

Нет, не получается у нас "правильного" интервью по схеме "скажите, пожалуйста, уважаемый Евгений Александрович...". Зная друг друга более сорока лет, трудно притворяться, что увиделись впервые.

— С тех пор много чего было в моих отношениях с вашим городом. И не только идиллического. У вас ведь была в свое время весьма специфическая идеологическая атмосфера, и я довольно быстро стал для кого-то "персоной нон грата". Все раздражало: "Ах, какие у него ботинки! Какие узкие брюки!" Так и при Романове нашем было, так и раньше — при Толстикове... Помню свой "безафишный", по сути полуподпольный, вечер... В "Юбилейном"! А в Доме композиторов нам с Окуджавой просто-напросто сорвали выступление, дружинников выпускали — "от имени рабочего класса"... К счастью, о подлинном отношении рабочих к нам я знал из других источников. Ребята с завода имени XXII партсъезда — так он тогда назывался — пригласили меня выступить. Неофициально, в зале, а прямо в цехах, где на это время остановились работы ("потом отработаем!"). А заводское начальство в эти часы не подходило к телефонам. "Нет на месте!" — отвечали секретари идеологическим контролерам. А я, между прочим, был тогда в опале после нашумевшей "Автобиографии".

Но при всем при том каждая поездка в ваш город была для меня поездкой на экзамен к русской классике. Всего лишь однажды я, набравшись храбрости, решился позвонить Ахматовой и высказать ей свое восхищение ее новыми стихами, появившимися в "Литературной газете". В частности, строчками о Пушкине, ныне

хрестоматийными: "Кто знает, что такое слава! Какой ценой купил он право, возможность или благодать над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть?..." "Так могла написать только женщина!" — возторгался я. А в ответ (воспроизвожу по памяти): "Ну, что вы, что вы, право... Я снедаема изумлением — как такой знаменитый поэт, который читает стихи на стадионах, находит время поговорить с несчастной забытой старухой..."

— Реакция, прямо скажем, не без яда...

— Еще какого! Но ведь яд-то был целительный! И, кстати, история имела продолжение, мне рассказывал об этом тот же Георгий Адамович, с которым Анна Андреевна, став "выездной", встретила в Париже. На меня тогда сильно нападали, и Адамович полусуто предлагал создать "общество защиты Евгения Евтушенко". "Евтушенко? — переспросила Ахматова. — Но ведь это что-то связанное со стадионами..." "Но ведь он же талантлив!" — возразил Адамович. "Не будь он талантлив, — царственно отреагировала его собеседница, — разве помнила бы его имя Анна Ахматова?"

— Не боишься, что тебя опять упрекнут в нескромности?

— Что делать, я не преподаю скромность, это не мой предмет. Скажу более: слишком скромных людей я опасаясь. Под их скромными одеждами мне то и дело видится пресловутый спартанский лисенок, грызущий их внутреннос-



Фото Михаила ВОЛКОВА.

ти: зависть. Может быть, я не прав. Но знаешь, кто был моим учителем в поэзии — кроме поэтов, названных и не названных здесь? Всеволод Бобров! Да, тот самый. Футболист. Он не был скромен, он шел напролом. Он не был дриблинговым игроком, мастером финтов и обводки. И я тоже.

— Ну, положим... А как же со стихотворением о тбилисской церкви Кошуты? "Мы, лицедеи, богомазы, дурили головы господ, мы ухитрились брать заказы и делать все наоборот?" И с другим стихотворением, где о поэзии прямо сказано: "В ней есть свои обманные маневры: война — она войною быть должна"? Чем не финт, чем не дриблинг?

— А что делать, если я был действительно поставлен в ситуацию войны? Не будь во мне доли актерства, я бы не выжил. В моем собрании сочинений, которое начинает выпускать столичное издательство "ХГС", через все тома "пунктиром" пройдут не только отзывы критики, но и, например, выдержки из документов КГБ и других инстанций, вершивших наши судьбы.

Сейчас, когда открылись архивы, это стало возможным, и я могу документально засвидетельствовать, что меня и моих товарищей удостоивали своим вниманием и Семичастный, и Андропов, не говоря уже о деятелях меньшего ранга. Чем и опровергается, в частности, распространявшееся мнение, что,

мол, гражданская отвага "шестидесятников" была санкционированной, чуть ли не инспирированной сверху. Существует и вариант этой версии: случился XX съезд, и все стали писать по-другому... Но поэму "Станция Зима" я писал в 1953—1955 годах, "Не надо говорить неправду детям" написано еще при Сталине... Солженицын тогда сидел в лагере, Сахаров был привилегированным ученым, диссидентства как явления еще не существовало. Мы предощущали, предчувствовали многое — я говорю не только о себе, но и о Вознесенском, Ахмадулиной, Окуджаве... Нет, я не утверждаю, что мы знали все заранее. Все было гораздо сложнее.

— Ну и как отразится эта сложность в твоём первом собрании сочинений? Ведь в подобных случаях совершенно естественно возникает соблазн "отредактировать" свою жизнь задним числом. Будет ли твоё собрание сочинений полным?

— Нет, конечно. Я совершенно сознательно включаю в него далеко не все. Я ведь даже стихи о Сталине в ранней юности сочинил. Не отрекаюсь от этого факта: что было, то было. Но сегодня-то мне зачем публиковать их? Сегодня эти стихи мертвы. С другой стороны, готовя это издание, роюсь в своем архиве, я обнаружил немало стихов, о которых и сам забыл. И, как ни странно, живых, звучащих и сегодня. Я ведь как начинал писать? Слушал у себя на станции Зима, как поют бабы, сидя на завалинке, бежал домой и записывал то, что особенно нравилось. Но пока бежал, некоторые строчки забывались, приходилось вместо них додумывать свои.

— Существует мнение, что людям нынче просто не до поэзии, вся энергия души уходит на другое, на борьбу за выживание...

— Не могу согласиться! Минувшим летом у меня было шестнадцать выступлений на Урале и в Сибири, перед людьми, которые по погоде не получали зарплат. И они говорили мне о том, как трудно стало достать хорошую книгу. Жажда высокого, серьезного слова существует, она в природе человека.

Ты знаешь: не так давно мы потеряли Владимира Соколова, одного из лучших русских поэтов нашего времени. Бывший министр Евгений Сидоров дважды ходатайствовал о выпуске его собрания сочинений. Ответ стереотипный: "Денег нет". Да что говорить о собрании сочинений! Жена Соколова жаловалась мне в последние дни его жизни: так дороги стали лекарства, совершенно недоступны... Будь иначе, может быть, Володя и сейчас был бы жив и писал стихи? Стихи, которые, нужные людям. Ты скажешь, я идеалист? Что ж, в какой-то степени я всегда был им. Знаешь, люди иногда напоминают мне яблони под снегом. Снег пригибает их к земле, гнетет. Может быть, наша задача — по мере сил помочь им стряхнуть снег и распрямиться?

Беседу вел
Илья ФОНЯКОВ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Евтушенко Евгений

31.01.98